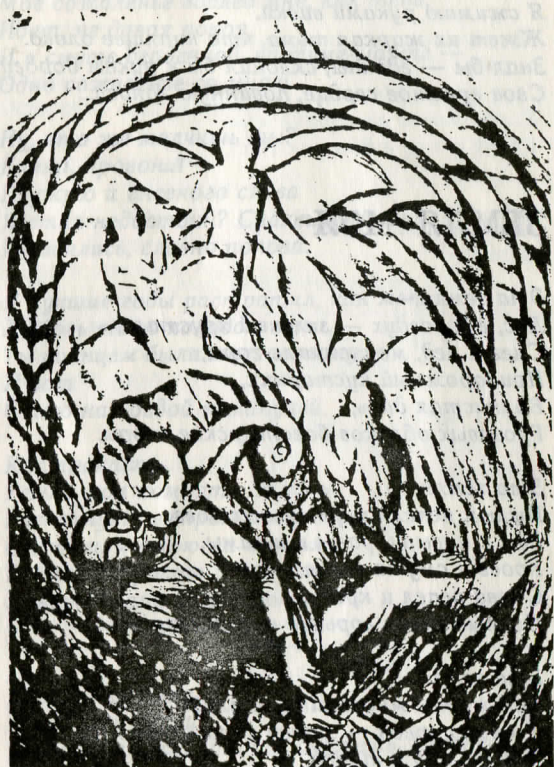


Пусть любовь моя солнцем встает поутру
Над тобой, когда я в тебя, вечную, лягу.

В горсть сырую тебя
Я с любовью беру, как солдат.
Ты тепла и нежна, словно птица!
Погляжу я вперед, оглянусь ли назад,—
Жизни смысл без остатка в горсти уместился!

Перевод с осетинского А.Медведева



Батраз Дзиов. Сон мастера. (Сон Сосланбека Едзиева).

ЗЕФИРА БУТАЕВА

ПИСЬМА О ПРОШЕДШЕМ

Добрый день, Алексей!

Ты упрекнул меня, что я все позабыла. Напрасно. Могу устроить «вечер воспоминаний». Как говорится, «их есть у меня». Как познакомились с тобой, точно не помню. Кажется, мы с Натой шли по стромыньскому коридору и кудряво-лысоватый юноша пригласил нас сфотографироваться. (Вы, как Ильф и Петров, работали в паре: он зазывал, ты фотографировал.) Дальше — провал.

А вот несколько дней помню до мельчайших подробностей.

Мы поехали с тобой за город. Накануне ты был там со своей группой будущих искусствоведов и захотел и меня приобщить к красотам Подмосковья. Долго ехали в переполненной электричке, прижатые друг к другу. Потом осматривали развалины. Было очень красиво: земля, усеянная золотисто-зелеными листьями, красные полуразрушенные стены монастырей, освещенные заходящим солнцем.

Ты был на подъеме, все мне рассказывал, объяснял. У меня были очень смутные представления об архитектуре, поэтому я была благодарной слушательницей.

Возвращались мы уже вечером. Почему-то никого, кроме нас, не было. Мы шли к станции, взявшись за руки, шурша листьями, и громко пели (пытались в два голоса): «Эх, дороги, пыль да туман...» Конец припева «и пули свистят» никак не могли взять — высоко — и хохотали.

Было тепло — я расстегнула пальто. Ты обратил внимание на мое платье. Платье действительно красивое: черное, в обтяжку, грудь вышита бисером. Оно очень мне шло. Ты так восторгался платьем, что, облизавшись, я призналась: оно не

мое. Я одалживала его на торжественные выходы у одной из подруг. (Платье привез ей отец из Германии.). Ты опешил, покраснел, стал утешать меня, вытирал мне слезы.

Приехали мы в Москву поздно, но ты повел меня в коктейль-холл в начале улицы Горького.

Это первый ресторан в моей жизни — я помню все мелочи. Пили мы коктейль «дружеский», ели пирожное.

В полночь, опьяненные не так коктейлем, как днем, проведенным вместе, добрались мы до Стромынки. Не хотелось идти в душные комнаты общежития. Мы сидели на каких-то бревнах во дворе, и ты впервые говорил о своем отношении ко мне. А потом долго еще стояли у окна в заветном закоулке на повороте коридора — постоянном месте всех влюбленных нашего общежития.

Хорошо помню и еще один день — день моего рождения. Отмечали, как всегда, у Наты. Все знали, что мечта моя — французская булка, разрезанная вдоль и намазанная сливочным маслом. Я даже во сне видела, как держу ее двумя руками и ем, ем.

Когда гости собрались, Ната и ее брат вручили мне две булки, намазанные маслом.

Сели за стол, когда пришел ты с пакетом. Развернули — там батон, точно так же разрезанный вдоль и намазанный маслом. Под общий хохот я смогла съесть только одну булку. Когда встали из-за стола, ты отозвал меня в сторонку и вручил второй подарок: медальон на медной цепочке. Помню каждое слово, сказанное при этом тобой: «Я знаю, у тебя будет много драгоценностей. Но никогда не выбрасывай этот простенький медальон. Он будет всегда напоминать тебе обо мне».

Ты ошибся, Алеша, я не стала обладательницей драгоценностей (первое кольцо мне в 50 лет подарили дети). А вот медальон у меня сохранился. Одно время его носила дочь, а сейчас он просто лежит в шкатулке, и я, действительно, всегда вспоминаю тебя.

Хорошо запомнился мне и более поздний эпизод.

Мы с Леной (помнишь ее, конечно) собирались в наш «придворный» кинотеатр «Орион», когда ты зачем-то зашел к нам в комнату. Лена, как всегда, дурачилась, приставала к тебе. Я тоже смело кокетничала, зная, что ты встречаешься с какой-то девушкой. Мы просили, чтоб ты написал нам что-нибудь ласковое к нашему возвращению.

Расстелая постель, я обнаружила под подушкой твою записку с единственной фразой: «Не искушай меня без нужды!»

Я устыдилась — мое заигрывание было, действительно, «без нужды»: именно тогда я ходила в невестах блестящего

капитана, курсанта артиллерийской академии (отсюда и твое представление, что я вышла замуж за военного).

К счастью, я вскоре обнаружила, что у жениха только два достоинства: он воевал на Кавказе (орудие его стояло на крыше Маисового комбината недалеко от моего родного города) и он не пропах стромынскими коридорами — от него всегда исходил аромат хорошего туалетного мыла.

А посему свадьба не состоялась, о чем я никогда не пожалела, хоть сложилось у меня не все благополучно.

Но это уже другая страница моей жизни, не имеющая отношения к тебе.

Ну, пожалуй, на сегодня хватит.

Всего тебе хорошего!

Приветы твоим домашним, если они знают обо мне.

Ирана.

P.S. Может, я что-то лишнее написала, о чем ты и помнить не хочешь, тогда извини.

Алексей!

Вчера отправила тебе описание нескольких (это еще не все, что я помню о нас!) кусочков давно прошедшего, а сегодня пришло твое письмо с фотографиями.

Было бы смешно, если б я сказала: «Ты совсем не изменился!» Столько лет прошло. Скажу иначе: «Ты узнаваем!» Ты с бокалом! Что-то отмечаешь? Судя по изобилию на столе, голод, которым нас так пугают, еще не наступил.

Какое милое, моложавое лицо у твоей жены! Я очень рада твоему благополучию.

И особое спасибо за фотографию Сармата. Не могу оторвать глаз от него. Какая трагедия, что он так рано умер.

Мне приятно, что ты так тепло пишешь о нем. Сармата давно нет, а и ты, и я ощущаем его влияние. (Не от него ли твой интерес к Кавказу?).

Знаешь, а ведь я только недавно поняла, почему при знаниях, уме Сармата, он всегда старался быть в тени.

Как-то в поезде я разговорилась с попутчиком, однофамильцем Сармата. Оказывается, родители его были раскулачены, сосланы в Сибирь, там и погибли. А он бежал оттуда, скитался, где-то работал. Конечно, поступая учиться, он все это скрыл. Стала понятна его настороженность. Мне он этого ничего не рассказывал, хотя и относился по-родственному — земляки. А с тобой он делился? Ведь вы несколько лет прожили в одной комнате, дружили.

Разве могу я забыть, как мы пробивались на встречу с Симоновым? В каком восторге была огромная аудитория! А он, на вершине своей славы, высокий, красивый, «свой в доску», читал стихи о любви, о войне, отвечал на все записки, иногда бестактные, опять читал, пока не охрип и не взмолился отпустить его. Мы тогда еле успели на метро.

А вскоре мы попали и на другую встречу. Обсуждался роман Эренбурга «Буря». Та же огромная аудитория, заполненная студентами-филологами, но расстояние — не только возрастное — между автором и слушателями ощущалось очень. Роман многим не понравился, об этом резко говорили.

Эренбург слушал снисходительно, с высоты своих лет, знаний, опыта.

Для меня эти вечера были прикосновением к Высокому, Настоящему. Как и Большой зал консерватории с концертами Рихтера, Гилельса. Это уже на всю жизнь!

Навсегда запомнилось и потрясение от чтения Яхонтова. Я не помню, кроме «Графа Нулина», что он читал. Но как он читал!

После таких вечеров я всегда думала: «Какое счастье, что я в Москве!»

Вот только в общежитии были совсем другие концерты. Ты не знаешь, почему так часто выступали у нас Лядова и Пантелеева? Может, они шефствовали над нашим клубом, как Малый театр над Университетом?

А, впрочем, мы ведь ждали субботу и воскресенье не из-за концертов, а из-за танцев, после которых все разбредалось парами и до полуночи ходили по огромному квадрату стро-мынских коридоров.

О эти танцы под радиолу! Сколько народу набивалось! Половина ребят ведь и не танцевала. Кто, не успев научиться, попал на войну, кто стеснялся своих ранений. На этаже у нас жил парень, который ни разу, по-моему, не пропустил танцы. Он был на двух костылях, сидел всегда в одном уголке. И столько тоски было в его глазах, что мне всегда хотелось подойти к нему, постоять, поговорить, взять за руку.

Ну, о том, как ты спровоцировал Сармата, тоже почти не танцевавшего, а вслед за ним и меня — на лезгинку, ты не можешь не помнить.

Объявили танец на приз. Когда заиграла музыка, выскочили несколько пар и, размахивая руками, одинаково подскакивая — и ребята, и девушки, — стали «лезгинить».

Ребята-кавказцы не вступали в танец, лишь снисходительно улыбались, стоя в сторонке.

И вдруг ко мне подошел, как выяснилось потом, с твоей подачи, Сармат: «Станцуем?! Это было так не похоже на

сдержанного Сармата, что я не смогла отказаться, хотя никогда не танцевала при таком скоплении людей.

Не знаю, как это получалось у меня, но Сармат танцевал как солидный, знающий себе цену мужчина. Он не пытался стать на носки, но танец его был удивительно легким, несмотря на крупную фигуру.

Видимо, все же что-то было в нашем танце (девочки в комнате говорили, что почувствовали кавказский дух), потому что в круге остались мы с Сарматом и руководительница танцевального кружка со своим постоянным партнером. Конечно, они танцевали профессионально, им и достался приз. Но мы были довольны и без приза — будто дома побывали. Помню, как радостно блестели глаза Сармата, обычно такие грустные.

Ну, после таких писем ты посмеешь сказать, что я чего-то не помню? А вот что ты помнишь? Напиши.

Ирана.

P.S. Дали мне почитать книгу Раисы Максимовны «Я надеюсь...» Несколько страниц там о Стромынке, но, конечно, без всяких «глупостей»: танцев, общежитских коридорных закупок и т.п. Оно и понятно — не тот уровень!

Алеша, здравствуй!

Что-то ты молчишь долго. Нездоров? Крутишься, добывая хлеб насущный? Вероятнее всего — работа нашей почты.

А меня что-то разбередили мои воспоминания. Одно цепляется за другое. Прокручиваются разные варианты: вот если бы тогда я сделала не так, а так, то... К сожалению, а может, к счастью, ничего уже изменить нельзя.

Скажи, Алеша, тебе знакомо чувство вины перед близкими?

У меня постоянное ощущение, усиливающееся с годами, что я недостаточно внимательна к родным, вообще к хорошим людям, на которых мне всю жизнь очень везет.

Мучает меня совесть, что я отмахивалась, когда мама десятилетиями рассказывала одни и те же истории. Ну что мне стоило выслушать ее еще раз? (Все повторяется. Теперь и мои дети часто говорят: «Мама, мы это уже слышали!» А как хочется, чтоб они потом не жалели, как я сейчас).

Чувствую я и перед отцом вину. Дважды я как бы отреклась от него: в автобиографии, поступая в вуз, а потом на работу, я написала, что отец просто умер в 1937 году (хотя и так было ясно: в эти годы редко кто умирал своей смертью).

Может, мои настойчивые в последние три года попытки выяснения подробностей судьбы отца — очищение, успокоение совести?

И уж совсем непростительно, что я смогла выбраться на могилу погибшего в войну любимого брата только много лет спустя, когда и могилу нельзя было отыскать.

Много и более мелких проступков, о которых я сожалею.

Вот и перед тобой, Алеша, я должна повиниться. (Ната не простит мне, если когда-нибудь узнает, что я выдала нашу тайну, столько лет хранимую). Мне так понравилось в коктейль-холле, куда ты меня сводил, я так любила Нату, у нас так все было одинаково — просто смириться было невозможно, что она осталась без такого удовольствия.

Но что делать? Стипендии свои мы отдавали в общий котел. Где же достать 160 р. (столько ты заплатил). И тут вдруг «... несчастье помогло»: в очередной раз я потеряла свои карточки. Когда ты узнал об этом, то тут же отдал мне свою вторую (была у тебя какая-то льготная) карточку.

Это был единственный шанс добыть деньги.

Мы продали эту карточку на Тишинском рынке за 200 рублей!

В тот же вечер мы с Натой отправились в коктейль-холл.

Швейцар подозрительно посмотрел на нас, потом спросил: «Вы с кем?» Ната, напустив на себя независимо-развязный вид, махнула рукой в сторону зала: «Нас ждут!»

Мы сели за тот же столик, заказали те же пирожные, тот же коктейль «дружеский». Я сгорала от стыда. А тут еще подсели за наш столик двое мужчин. Вначале они не обращали на нас никакого внимания, говорили о науке, чертили какие-то формулы, но когда выпили (видимо, что-то более крепкое, чем наш коктейль), то стали заговаривать с нами и даже пытались за нас расплатиться. Но официантка, немолодая женщина, одернула их: «Девочки пришли сами, сами и расплатятся». Как ошпаренные вылетели мы из бара, ощущая на спине неодобрительный взгляд швейцара.

Нату я приобщила к коктейлю, но как было досадно, что испорчено то первое, светлое впечатление.

Прости уж нас, Алеша, глупых любительниц острых ощущений.

Теперь уж буду ждать твоей реакции на мои послания.

Ирана.

P.S. Такое странное совпадение. Вчера после письма тебе я взяла почитать рассказы Беллы и наткнулась на место, которого раньше не замечала: «Молчанием сбережешь чужие вос-

поминания, а стоит позволить себе растворить их в сентиментальных словах, как они тотчас поблекнут... Стоит только дать волю всем этим: «А помните ..., и прошлое обесцвечилось бы». Неужели Белль прав? Мне-то кажется, что высказанное становится ярче. Я уж не говорю о том облегчении, которое я, например, ощущаю после каждого письма тебе. А что ты думаешь?

Добрый день, Алексей!

Вернулась наконец домой в Осетию после путешествия в Москву. Тревожно на душе от увиденного.

О Москве писать не буду, ты сам видел ее, замусоренную, заплеванную. Особенно неприятно видеть грязь в метро. Вспомни, какая там идеальная чистота была, даже во время войны. А эти толпы нищих в подземных переходах! А лотки с сомнительной продукцией!

За юго-осетинскими делами ты следишь по телевидению, газетам. Правда, когда нет надобности изображать объективность, давая информацию обеих воюющих сторон — и не поймешь, кто на кого напал — все выглядит несколько (вернее — совсем) иначе. И какое счастье, что прекратилось кровопролитие! Надолго ли? Говорят, многие беженцы стали возвращаться на свои пепелища. Несчастные, бедные люди! Сердце сжимается, как подумаешь, что их еще ждет.

А в это время в местной газете разгорелась дискуссия о том, кто — дигорцы или иронцы — более осетины, чье наречие древнее. Как будто сейчас важнее и проблемы нет!

Мне кажется, что такие споры не совсем безобидны. Я поймала себя на том, что после прочтения одной такой статьи стала перебирать в памяти всех приятелей осетин: кто иронец, кто дигорец, кто кударец? Осетинам еще только этого сейчас не хватало.

Насторожило меня и другое: крайности в попытках укрепить чувство национального самосознания, стремление доказать, что осетинское — самое лучшее. (В масштабах СССР мы уже это проходили!). И возрождаются все старинные традиции, обычаи. А многие из них просто разорительны. пышные свадьбы с подарками (поди купи их сейчас!) всем родственникам. Бесчисленные дни поминовения усопших с многоядными застольями. Ритуальные жертвоприношения с поездками к святым местам. И каждый старается, чтоб у него было не хуже, чем у других.

Когда я пыталась убедить родных, что можно какую-нибудь дату и пропустить, неизменно слышала: «Не на нас же

должно закончиться веками установленное». И так рассуждает каждый. Где же предел?

А жизнь, как и везде, трудная, дорогая.

Алеша, меня долго удивляло, что ты ничего не делаешь для нашей встречи. Это ведь совсем несложно: стоит только приурочить свои «продуктовые» походы ко времени моего пребывания в Москве. И только этим летом я, кажется, поняла тебя. Вот в связи с чем.

Я встретила со своим бывшим одноклассником. Мы очень обрадовались друг другу, интересно поговорили. Но увидеть в этом солидном, упитанном мужчине застенчивого, угловатого юношу — совершенно невозможно. Только и осталась от прежнего Сослана голос и доброта. Да и я перехватила его недоумевающий взгляд на мою седину. Он и скрыть не сумел своего огорчения: «У тебя ведь две черные косы были, я помню».

Вероятно, ты избегаешь такого разочарования. Бережешь мои и свои воспоминания? Видимо, ты прав.

А мне вот все хочется разыскать своих одноклассников, однокурсников. Какие они? Кем стали? И сколько раз я уже наталкивалась на равнодушные, на полное отсутствие простого любопытства со стороны даже тех, с кем когда-то была дружна.

Ната все удивляется: «Ты никак не угомонишься. Были бы вы фронтовики, а то одноклассники. Зачем они тебе? У каждого своя жизнь, дети, внуки».

И вправду, зачем?

Всего тебе хорошего. Пиши.

Ирана.

P.S. Посылаю тебе газеты и брошюры об истории осетин. Знаю, тебе это интересно.

Здравствуй, Алексей!

Совсем недавно я писала тебе о неприятии некоторых осетинских обычаев. Но вот я сама оказалась в плену наших национальных традиций. Причем добровольно!

Много лет меня угнетает чувство вины перед отцом (я писала тебе об этом). Мне казалось, я не все сделала, чтобы узнать, что же все-таки с ним стало, где и как окончились его дни.

Теперь, когда я знаю все возможное, меня стала преследовать навязчивая идея — желание вслух произнести слова благодарности отцу за светлый след, оставленный им в моей жизни, рассказать о том, каким он был: мягким, доброжела-

тельным, веселым, как любил детей, как баловал меня. Хотелось выплеснуть горечь, тяжелым грузом лежавшую на душе моей, горечь от того, что не только могилы отца нет, но неизвестно даже, в каком конце города валяются его кости вместе с останками тысяч таких же невинно расстрелянных — цвета нации.

И я собрала людей, хоть что-то знающих, слышавших об отце, накрыла скромный стол и, первой — в нарушение осетинских обычаев — взяв слово, выплеснула наболевшее.

Удивительно, но с того дня у меня легче на душе. Будто от пожеланий «мир праху его» действительно земля для него стала пухом, а я выполнила свой дочерний долг.

Я сейчас понимаю, что отец возлагал большие надежды на меня. Как всякому любящему отцу, я казалась ему способной, одаренной. Оправдала ли я его надежды? Состоялась ли я? Теперь, когда прожита большая часть жизни, я могу сказать: «Нет, не оправдала я ожиданий отца!» Почему?

Я прошла все стадии от извечного желания каждой девчонки стать актрисой до мечты о научной карьере. Но неуверенность в себе, устойчивые комплексы наложили отпечаток на всю мою жизнь.

Я долго не выговаривала «р», и хотя не помню, чтоб меня дразнили, но в младших классах школы эта картавость скрывала меня.

Много лет я мучительно страдала от бедности. Все тогда жили небогато, но едва ли кто из моих сверстниц, выходя на сцену читать стихи, был в мамином платье, подвязанном бечевой. Предмет моей зависти — синие матросские костюмчики, которые носили некоторые девочки.

Приехав в Москву, я боялась выглядеть провинциалкой. И хотя никогда я не говорила «портфель» (с ударением на первом слоге, как одна моя сокурсница — так она и окончила с этим «портфелем» филологический факультет), но помню, как я залилась краской стыда, когда произнесла «жестоко» (с ударением на последнем слоге) и меня поправили.

Пыткой на первых курсах были для меня уроки физкультуры: я не каталась на коньках, не умела плавать, не ходила на лыжах. (Единственное, к чему я прирастилась — лыжи, до недавнего времени я ими занималась).

А потом этот постоянный страх: вдруг обнаружится, что я дочь «врага народа». (Он, мой «обман», был раскрыт, и директор техникума, где я работала, кричал, стуча кулаком по столу: «Мы не можем доверять воспитание молодого поколения нечестным людям!»).

Я до сих пор скрываю, какое окончила отделение: начисто забыт язык, изучению которого были посвящены 5 таких трудных лет.

Не сложилась у меня, по обывательским представлениям, и личная жизнь, хотя никогда не была я обделена вниманием. А еще... еще... Так до бесконечности.

В общем, ничего толкового из меня не получилось, и это печалит меня, хотя я стараюсь ни с кем из близких не делиться своими огорчениями. Никто меня не понимает: «Ты вырастила прекрасных детей! Чего ты еще хочешь?» Может, и правда?

Почему тогда не покидает меня постоянное ощущение неудовлетворенности? А тщеславие, которое я стала замечать в себе, это не от стремления ли самоутвердиться?

Не знаю, я запуталась окончательно.
Вот так-то.

Ирана.
1993 год.



Батраз Дзиов. Свет материнский. По мотивам поэзии
А.Токати

Ирина Гуржибекова

«СИНИЙ ВОЗДУХ УЩЕЛИЙ...»

НАШ ДОМ

Синий воздух ущелий не выпить до дна.
Что-то главное мы непрестанно теряем.
Может, главное в том, что речная волна
Только в малом — в престиже — морской уступает.
Может, главное в том, что мы подняли рог
За удачу в делах и за хлебное поле...
Горы к Космосу близко. Так дай же нам Бог
Этой самой крамольной космической воли.
Дай понять наш больной опрокинутый мир,
Где, стреляя в тела, мы кромсаем и души.
Может, главное вовсе не вечность, а миг,
За которой мы станем, кто хуже, кто лучше...
А не главное лезет, маня и скользя,
Заливает нам уши елейною фальшью.
Но и старца глаза, и ребенка слеза
Вопрошают: «А дальше-то что же? Что дальше?»
Участь листьев осенних достала и нас,
И летим мы, послушные прихоти ветра,
Но и в горьком изгнание мы слышим подчас,
Как тоскуют по нас одинокие ветви.
Можем сгнуть на болоте — но почву вскормить.
Иль сгореть на костре — но за правое дело.
Выше собственных бед мысль одна нас томит —
Как бы дерево наше без нас не сгорело.